

Игорь ГАЛИЛЕЕВ

МАРИНОЧКА

Рассказ

Мариночка... Так ее называют дети. Может, потому, что уколов она не делает, а чаще всего просто разговаривает. Улыбаясь, спрашивает о том о сем, рисунки хвалит. Мол, вырастешь, твои картины в Лувре висеть будут... Ага, будут — всем понятно, что утешает, успокаивает. Ведь нас, детей в «раковом» отделении, врачи, среди прочего, должны надеждой обеспечивать. Как говорят, «на позитив настраивать»...

А какой здесь позитив? Не дураки уже большинство, знаем, — усатой санитаркой теткой Ольгой научены.

— Вона, — говорит, когда полы под кроватями моет, — слышите, молоточки стучат? Энтю вам гробики сколачивают...

Вот и весь позитив. Да мы и без нее понимаем — каков конец будет. Но Мариночка все равно рассказывает о нашем будущем, фантазирует. Бывает, сядет на кровать и давай придумывать.

— У тебя, Славик, — это она мне, — семья большая будет. Трое, нет, четверо детей и жена красавица...

— Пусть, — говорю, — она врачом работает, ладно?

— Хорошо, пусть работает. Так вот, а ты известным следователем станешь, — это Мариночка мою страсть к книжным детективам в реальность трансформирует. — Будешь трубку курить, и все девчонки в тебя влюблены будут.

— Да кому я нужен-то, лысый, — и рукой на свой голый, как коленка, череп показываю.

— Это ерунда, Славик, волосы — не главное. Гораздо важнее, что в душе у тебя...

Верно, душа важнее...

Мне одиннадцать лет. В больнице год уже живу. Волосы не сразу выпали. Хотя, если честно, каким я с прической был — не помню совсем. Мама все реже приходит стала. Может, и хорошо, что так. А то придет, сядет на табурет рядом и плачет. Аж самому тошно становится. И перегаром от нее пахнет. Тетка Ольга говорит, что сда-лась, мол, мать, заживо отнесла меня, вот и пьет. Поминает.

А отец уже месяца три не навещал. Мамка сказала, что в командировку уехал, не вернется никак...

В палате нас четверо. Я самый старший. И старожил самый. Двое совсем мальцов — пяти и шести лет — под капельницами постоянно. А недавно новенького на Мишкино

Игорь Владимирович Галилеев родился в 1972 году в Пензе. Журналист. Дважды победитель международных литературных конкурсов, организованных Международным Союзом русскоязычных писателей. Живет в Пензе.

место перевели, Олежкой зовут — лежит, хнычет всю дорогу. Больно, говорит. Я ему иногда свои витаминки сладкие даю, успокаивается. Но дружить он все равно не хочет — мол, не за чем. Хотя, смотрю, Мариночку с первых посещений полюбил. Да к ней и нельзя по-другому относиться. Самой ей Бог детей не дал и всю свою неистраченную любовь материнскую она нам отдает. И лечит.

Мариночка — врач.

Говорят, что здесь она несколько лет работает, из института сразу пришла. И ведь не зачерствела пока! Хотя сколько нас, славиков и мишек, уже проводить успела...

Так день за днем и проходят — в ожидании...

Сегодня Мариночкина смена. Жду, к шагам в коридоре прислушиваюсь. Вчера мне вставать наконец-то разрешили. Но далеко ходить все равно нельзя. Поэтому я у окна пристроился. Ах, как хорошо там! Самый красивый ноябрь в моей жизни! Деревья в больничном дворе утренний мороз снежными гирляндами украсил, из застывших веток фигуры сплел — можно хоть целый день разгадывать. А солнце оставшиеся листочки, словно струны, пальцами лучей перебирает — мелодию к зиме подбирает. Если ухо к стеклу плотнее прижать, то музыку услышать можно. Про жизнь она и про любовь...

Тут дверь распахнулась, и я уже хотел радостно Мариночку поприветствовать, но это оказалась тетка Ольга. Ведром посередине палаты бряцнула и мокрую тряпку на пол шлепнула. Молча все, без слов, даже на нас не глядя. И швабру длинную с плеча сняла. Ну вот вылитая та самая старуха. Только вместо косы — швабра.

Но я поздоровался.

— Здравьете, тетя Оль, — говорю. — А почему к нам Мариночка не идет? Или смена не ее?

— Ее, ее, — отвечает, — дурочки этой.

А сама тряпкой под Олежкиной кроватью жмыкает.

— Не придет сегодня, не ждите, — продолжает. — Сама заболела с вами, полутырками.

И тут швабру на пол бросила и руками всплеснула:

— Ну это же додуматься надо! Свои деньги на вас тратила! Вот дура-то!..

Только на третий день от другого врача мы узнали, что Мариночка на свою зарплату нам чего-то покупала: альбомы для рисования, книжки, фломастеры. И в прошлую зиму даже одеяла нам теплые, стеганные на все отделение сама сшила. А пальто себе зимнее купить не успела... Свалилась с воспалением, в другом корпусе теперь сама лежит. Тоже, наверное, в окно смотрит...

— Ага, щас, смотрит, — то ли ругается, то ли радуется тетка Ольга. — При смерти она. Температура сорок. Лежит там бледная, зубами стучит под одеяльцем больничным. Себя бесполезно на вас променяла. Э-э-эх...

Вон оно что...

План в голове за секунды возник.

Палата наша на втором этаже располагалась. Высоко, в общем-то, но страшно не было.

Конечно же, дождались ночи. Участвовать вчетвером решили, иначе не получилось бы ничего. Как только новенький дежурный врач обход сделал, пора стало.

Простыни связать — это полдела. Смочь вот, сидя-то на подоконнике, на морозе — это самое важное. Двух мальцов с собой решили не брать — в палате будут наше с Олж-

кой возвращение стеречь, чтобы обратно простыни скинуть. В общем, собрали мы в один тюк все одеяльца наши — у нас в палате и без них как в духовке — и первым его сбросили. Простыни я к ножке своей кровати привязал и за окно вылез.

Да что б тебя! — ветрище коготками сразу под пижаму забрался, в тело вцепился. Пожалел я, что только в тапочках больничных и в носочках легких, пальцы на ногах в миг одеревенели. Но отступить нельзя, там Мариночка из-за нас мучается.

От подоконника отцепился и кое-как, хилыми ручонками перебирая, как мотыль на леске, почти сорвался — спустился донизу. Пластмассовыми подошвами об асфальт хлопнул, думал, всю больницу разбуду. Обошлось вроде...

Олежке показываю — давай, мол, спускайся. Смотрю, карабкается. Эх, дурной, носки под тапки не надел даже. А штаны пижамные у него коротенькие, до середины голени. Вот замерзнет-то! Шепчу громко:

— А ну обратно лезь, пока не спустился. Один справлюсь...

Может, так безопаснее будет, надежнее получится. Олежка обратно в палату закинулся — снизу видно, что нос синий от холода — и простыни за собой втянул, чтобы не заметил никто, окно закрыл сразу. Рукой через стекло показывает, мол, иди, я на «посту» буду.

Ну и хорошо. Тюк с одеялами за спину взвалил, крикнул по-взрослому и пошел к соседнему корпусу, от фонарей прячась.

Голова лысая жуть как замерзла, до самых мозжечков мороз добрался. Иду, шатаюсь, Мариночкой себя подбадриваю, мол, умрет она без нашей-то помощи, позаботиться о ней, кроме нас, некому. В темноте бордюра не увидел, обоими коленями прямо об бетон ударился, брызги яркие из глаз высыпались. Но губу нижнюю прикусил, чтобы не закричать, не завывать от боли. Посидел немного, пока холод в позвоночник через пятую точку не проник, — дальше идти надо. Один тапок куда-то в темноту улетел. Руками пошарил — нет нигде. Ладно, думаю, ничего, и так дойду. А в одном-то шаркать неудобно — и второй тапочек бросил. Тюк снова за плечо — как картошку носят — забросил и дальше в путь отправился. Думаю, увидел бы меня сейчас кто, от смеха бы прямо на месте умер: идет доходяга, метр тридцать ростом, мешок больше себя несет, лысина инеем покрыта, и в одних носочках с дыркой на пятке. Умора... А вдобавок слезы на щеках кристалликами от холода застыли.

Плакал от боли, конечно...

Палата Мариночкина на первом этаже была — мы все заранее признали — иначе не решились бы на эту ночную «операцию». Окно ее ночником подсвечивалось — что внутри разглядеть можно. Я тюк с одеялами прямо под подоконник поставил и замороженными ступнями на него залез, чтобы повыше было.

Вот она, Мариночка наша, лежит бледная лицом, как воск. Крупная испарина на лбу блестит, и тяжело так, прерывисто, с надрывом, дышит. Мое сердце в комочек сжалось и к горлу поднялось. Жалко-то ее как! Я, мы-то ведь ладно, ясно с нами все, нас много таких. А она — одна на всех. Всех нас любит, надежду дает. Да и саму жизнь, может, дает по второму кругу. Смотрю на нее через окно, и слезы кулаком по щекам размазываю, жалею самого близкого человека своего.

Но дело доделать надо. Постучался тихонько — нет реакции. Думаю, а что если без сознания вдруг? В детективе читал, вспомнилось, что нельзя в таких случаях человеку спать давать — не проснуться может. Вспомнил и испугался! И со всей силы в окно заледеневшими кулаками забарабанил с криком:

— Марина! Мариночка! Ты только не спи! Слышишь?! Не спи только!!!

А через рыдания слова уже в рев превратились. Но стучу по стеклу, только бы проснулась.

И тут, смотрю, глаза ее затрепетали, приоткрылись. Посмотрела на меня и снова веки без сил опустились, только слеза по щеке скользнула — значит, увидела меня, значит, поняла. Жива, значит.

А в больничных коридорах уже свет загорелся, голоса громкие кругом. Дверь в Мариночкину палату распахивается, и врач с медсестрой забегают. Только это и помню...

Говорят, что я сам от переохлаждения без сознания упал — хорошо, мешок с одеялами был, на него прямо. Ноги сильно отморозил, долго еще ничего не чувствовали, как деревяшки. Потом больно ужасно стало. Поэтому меня уже Олежка своими витаминками подкармливал.

Местной больничной легендой я стал, со всех отделений на меня посмотреть приходили. И кто чего только не рассказывал! Мол, меня к Мариночке в палату через ее окно затащили. Вместе с одеялами теми. Говорят, что она меня к себе в кровать положила, отогревать. И что всю ночь сама на меня теплом своим дышала. В общем, вышло так, что спасла спасителя своего неудавшегося.

Сама она поправилась, конечно, — не знаю точно: одеяла наши помогли или лечение. Но уже через месяц снова к нам пришла. С улыбкой и слезами. Рыцари, говорит, вы мои сказочные...

Но сказка и в жизни случается.

Выздоровел я. Не сразу, конечно, пришлось в столице в каком-то центре побывать — там еще с полгода полечился. Как оказалось, помогло.

И только недавно узнал, что мое лечение больших денег стоило. Стал выяснять — следователем работаю все-таки, — кто оплатил. Думал, может, мать перед своей смертью или отец потерявшийся...

Оказалось, что Мариночка...

...Окно свое узнал сразу. Рука сама к голове, так и оставшейся без волос, поднялась. И сердце защемило что-то. Воспоминания хлынули. Опустился на лавочку осеннюю во дворе больничном — как и не уходил отсюда: все те же деревья голые, тот же запах щей из пищеблока и тишина... Будто время здесь специально в кисель превратилось, чтобы жизнь на подольше растянуть.

Из дверей корпуса силуэт в белом халате вышел — лица не рассмотрю никак, слезы мешают, а смахнуть вроде стыдно — взрослый же. Только вблизи по улыбке понял: Мариночка...

С сединой уже, в очках на добрых и понимающих глазах. Остановилась, посмотрела внимательно.

— Ну, Славик, а ты говорил, что некрасивый вырастешь... А сам вон какой!

И улыбается сквозь слезы...

А мне сказать бы хоть что-то, но не могу никак. Ладонь ее взял и лицом прижался, склонившись. А она меня по голове гладит, успокаивает:

— Не надо, Славик, не говори ничего. Хорошо же все...

Да чего стесняться-то слез своих! Обнял ее.

— Спасибо, — говорю, — и не только от себя...

И за больничный забор показываю. А там жена моя любимая платком слезы вытирает, и двое сынишек — не поймут: чего это папка сопли на кулак наматывает.

— Все как обещали, — улыбаюсь, — так и случилось. Детей только двое пока, но это ведь дело наживное...

С тех пор Марина Владимировна членом нашей семьи стала. Хотя, наверное, ее семьей я всегда был...